

Николай ВОРОНОВ

Истина о самом себе

> О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге, Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан

Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 117, 125, 134, 137, 140, 145, 148, 151, 154, 157, 160, 164, 166 (2010 г.), 7, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 27, 30... 77, 80, 83.

Благородная доброта

Вдова замечательного прозаика и сценариста Павла Нилина – писательница Матильда Юфит, незаурядная, на мой взгляд, с осени по макушку лета не жила на литфондовской даче. Мы с женой испросили ее разрешения, ее сыновей, Александра и Михаила, пожить в несезонную пору на даче. Отказа не последовало.

Благородная доброта дается свыше. Их муж и отец, Павел Филиппович, давал приют на даче у себя выдающемуся прозаику и сценаристу Борису Бедному и его жене Марии Наумовне, и они, мама и сыновья, не обделили нас с Татьяной Петровной своей отзывчивостью, в какой-то мере самопожертвенной. В 1986 году, в мае, пожалуй, мы пошли утром в магазин, а навстречу нам – мужицкого склада силач, тащивший за собой тележку о четырех чугунных колесах, заставленную глиняными горшочками с помидорной рассадой, с корытом, полным переносок; среди горшочков, всунутая в шапку, покачивалась трехлитровая бутылка с молоком. И вдруг мы узнаем в глаголом, простецкого вида работяге Егора Исаева. Мы только что с отрядом выслушали по ящику постановление Президиума Верховного Совета СССР, что поэту Егору Александровичу Исаеву за выдающиеся литературные заслуги присвоено звание Героя Социалистического Труда. Егор Александрович остановился с нами, мы поздравили его с героем, о чем он не слышал, но вчера был извещен Юрием Васильевичем Бондаревым, тогда председателем Союза писателей РСФСР. И Юрий, и Егор с Парнаса, оба фронтовики и герои за писательские достижения, наивно лишены свинства, в котором погряз ненавистник знаменитых писателей, до седой бороды злопахотавший, потому что не желает оставлять безвестным, как студент из чеховского рассказа, бросившийся под пролетку.

Крестьянская природа и излучаемое ею вольнолюбие отделили Егора Исаева от поэзии по соцзаказу

Татьяне и мне захотелось повторить путь, которым Егор Александрович тащил туда-обратно тележку о четыре чугунных колеса. Он двигался через детский пульмонологический санаторий, размещенный на усадьбе Юрия Федоровича Самарина – публициста, философа, общественного деятеля, славянофила. Мы прошли сквозь рощу лип, мимо помещичьего двухэтажного дома, близ которого, точно бы умный печальный раздумьем, сидел бронзовый Корней Чуковский, по яблоневому саду и малиннику, по скату, от коих высилась лиственнично-грамадина, равных которым я не видел ни в Европе, ни в Азии, даже на Южном Урале, где кормятся их игольчатый покровом глухари. По-за дубравой очутились на мостках, откуда открывался ландшафт на Переделкинский пруд. Скоро мы разыскали участок под двумя пихтами, с двумя блестящими, антрацитово-черными

коровами, с пожилыми хозяйкой и хозяином, у кого ежеутренне Исаев покупал бутылку молока для матери и брал в разную пору всяческие саженьцы, семена и луковички цветов. Егора Александровича они чтит за верность крестьянскому занятию.

Приверженность саду

Возвращаясь на дачу Павла Нилина и Матильды Юфит, мы с Татьяной говорили о том, что, если бы Егор Исаев не был известным поэтом и публицистом, в этот юбилейный день своего шестидесятилетия он заслуживал бы звезды героя за страстную верность сельскому труду, как, впрочем, и его друзья – безмянные крестьяне из деревни Переделки.

Ни перед чем, фальсифицируя, А. С. Т. не останавливается. Когда не на кого сослаться, прибегает к безмянной обтекаемости: «Вспомнилось мне кем-то рассказанное. Приехала к Егору мать и давай уговаривать: «Поедем домой, Егорка, в деревню, председателем колхоза станешь. Зачем тебе эта Москва, где тебя то ласкают, то обижают?»

Егорова мама, Агафья Терентьевна, была женщина редкой мудрости. Чтобы она уговаривала сына (про его обиды она не знала – преуспевал); преуспевал ли, нет ли, он сроду не жаловался, да и понятия такого, преуспевал – не преуспевал, Егор Александрович не придерживался, слишком тесным, ничтожным, было оно для поэта, индивидуума общепризнанной значительности.

Я уже отмечал, что приверженность саду-огороду вдохновенно являл Егор Исаев до перестроек и до обвалов рубля. А едва вирус ельцинской демократической капитализации стал вноситься телевидением и прессой в наше общество, все, что противодействовало разрушению его хозяйства, подвергалось измывательству. Они, естественно, взяли уничтожить, осмеивать, трудировать Егора,

дабы отбить охоту к сельским делам, да и не только у него. Как проникли к нему на участок телевизионщики (он чурался их, отвратительных лазейщиков), я не знаю. И тут Ткаченко подводит его под облыжку: «...Егора подвела его природная простота. Зачем выставляться? Ведь потешаются! О, эта эгоистическая тяга (не русская по духу) к хоть какой-то известности!» Да не было у Егора такой тяги: известность его сохранялась. Да и сам А. С. Т. опровергает это: «...Егор угостил меня двумя вялеными лещами, сказал, что ездит рыбачить на своей «Волге» аж на Валдаи, но в дом-дачу не пригласил, за что я не в обиде на него (еще в какой обиде: отомстил. – Н. В.). Близкой дружбы мы не водили, к тому же я всегда старался держаться в стороне от знаменитых и начальственных!» Это они держались от тебя в стороне, носитель скуки, зависти, бледной немочи стили.

«Теперь, спустя четыре года (от какой хроникальной отметки? – Н. В.), прохорода мимо литфондовской «усадьбы» Егора Исаева, я слышу петушиное пение, кудахтанье кур.

Забор плотен, калитка наглухо заперта – времена-то какие бандитские! Вижу макушки яблонь и груш, наверное, уже плодоносят...» – так обрисовывает свою ненаблюдательность Ткаченко.



Нет пока в нашей литературе о Великой Отечественной войне героя, равного по всенародности своей Теркину

Вдали от идеологий

Забор не столь высок, чтобы не видеть кроны яблонь, усыпанные отменными плодами. Груш хозяин не сажал. Кур, индоуток истребили соседские лайки-хаски. Калитка притворена, толчки – и откроется. Частенько и калитка, и ворота открыты: наезжают гости, родня. Зачем открывать и закрывать? Ну и верхогляд А. С. Т. Идет к завершению, не обнаружив урожая на земле Егора Александровича: «Может, стал он, наконец, свободен от идеологий – мало ли их напридумывали на наши бедные головы! – и пишет свои главные, не по «соцзаказу», стихи и поэмы? Поэт-то он одаренный, с искрой Божией. Если так, исполать ему!»

Смолоду Егор Исаев развивался вдали от идеологий, а потому вступил в партию в стариковском, по исчислению Александра Твардовского, возрасте, хотя производил юношески прочное, динамичное впечатление. Полетав и поездив много по шару, причастившийся наблюдениями к ведущим странам буржуазно-индустриальной цивилизации, Исаев остановил свое гуманистическое устремление на коммунизме. Вольнолюбие его создавалось в крестьянстве, оно же и приобщило его к заветным надеждам человечества о правде, свободе, о всеобеспечивающем труде, о солнечной литературе и многоцветных искусствах. Крестьянская природа и излучаемое ею вольнолюбие отделили Егора Исаева от поэзии по соцзаказу. Свою первопрородческую поэму «Суд памяти», от высот которой он ни разу не отступился, Исаев написал с одобрения великого писателя и педагога Константина

Георгиевича Паустовского: «Как-то я ему рассказал о большом немецком стрельбище, о стрельбище-комбинате, рассказал о символе, от которого идет страшная реальность. Стрельба по фанерному человеку – а в проекции за этим фанерным – целая цепь лиц, характеров, разных биографий, а в проекции – живые люди многих национальностей, которых потом убьют, целая вторая мировая война проекций... И когда я рассказал Паустовскому об этом стрельбище-кладбище, где нет могил, но все могилы убитых пошли потом именно отсюда, помню, сказал: «Молодой человек, вы нашли ключ-образ, к философии второй мировой войны. Вы должны это написать. И лучше будет, если это вы сделаете в прозе». Его совет я благодарно принял к действию. Единственно, в чем я сделал отступление, – в жанре: я все-таки написал поэму».

Узел своего развития, вспоминая о Литературном институте, Егор Исаев завязал так: миропознание и самопознание; узел, который не дано ни завязать, ни развязать никаким ткаченкам, ибо их мир скручен, подобно листу клена, в трубку, где жарко паразитарно выращивает себя губительница лесов листовертка с почти смертельной угрозой их грядущему.

Творца литературы писатели и читатели оценивают не только по тому, как он сам себя оценивает, но и по тому, как он оценивает других творцов, а также их высшее достижение, выраженное в самом главном человеческом образе.

«Теркин, чем он, например, велик? А тем он и велик, Теркин, что у него не один, а целых два великих автора. Один автор – Твардовский, другой – народ.

Замечательная уютность

Не знаю, как другие, а вот я лично представить Теркина каким-то там книжным персонажем, даже главным героем, ну никак не могу. Для меня он – всегда всамделишный, всегда реальный человек, в чем-то, может, похожий на Буслаева Василия, в чем-то – на Тушина-артиллериста, в чем-то – если взять поближе – на нашего Чапая или на его Петьку. А во всем остальном, в главном, он – сам!

Сам – не только на всю нашу поэзию, но, будем и далее справедливы, и на всю нашу прозу. Ведь, что греха таить, нет пока в нашей прозе о Великой Отечественной войне героя, равного по всенародности своей Теркину.

Сам – на всю нашу классику даже, на всю мировую литературу.

Сам – на всю нашу будущую жизнь. И такое ощущение, что Твардовский не столько сочинил, сколько открыл его для нас. Так же открыл, как, скажем, открывают и наносят на карту новую Землю, новый Горный хребет, новый Пролив.

Теркин! Кто ж его только не знает у нас! Знают все. И все, можно сказать, любят. В особенности за его способность не унывать, быть всегда веселым, даже на краю смерти. Что ж, не спорю, черта эта в характере Теркина и, пожалуй, даже самое главное. А если добавить к ней и храбрость, а к храбрости – общительность, а к общительности – рассудительность – портрет будет почти готов.

...Есть в Теркине и еще одна замечательная черта. Пусть не главная, но все-таки. Эту черту я назвал бы так – уютность.

Уютный он человек, Теркин! Уютный во всем – в разговоре, в деле, в игре на гармонии... Уютный везде – в окопе, на марше, в снегу, под дождем... Уютный всегда – летом, зимой, ночью, днем. И это в нем, как я понимаю, – от избытка добросердечия, от избытка душевного тепла, света. Помните, как от такого избытка тепла и света не только бойцы – броня на лютном морозе стала теплой! Это когда Теркин на гармонии играл. И не тот ли избыток душевного тепла не дал ему окоченеть в ледяной предзимней воде, когда он с донесением переплывал реку?

Уютными кажутся и все вещи Теркина, вся его одежда – шинель, шапка, кiset, табак в кисете, дым над самокруткой... И это, кстати, нисколько не снижает в нем героического. Наоборот – подчеркивает. Делает его героизм куда более глубоким, обстоятельным. Неофициальным, а домашним как бы. Он ведь, Теркин, и воюет-то как-то так уютно, дельно, ловко воюет, и во всем у него норма! Во всем смысле, во всем такт. И перхомура нет, но нет и легкомыслия. Если шутка, так под серьез, если серьез – так под шутку. И никакого хохмачества. И ничего вразрез с правдой.

...А всего иного пуше
Не прожить наверняка –
Без чего? Без правды сушей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще...
Как бы ни была горькая.

Убежденность, с коей написан Егором Исаевым приведенный отрывок, выражает национальную, нравственную, художественную, личностную суть самого поэта, во-бравшего в свой мир Буслаевское, Тушинское, Чапаевское, Теркинско-Твардовское

Продолжение следует

> К добру и миру тянется мудрец, к войне и распрям тянется глупец. РУДАКИ